



*Анатолий ПИРОГОВ (1929–2019), книголюб, краевед, речной капитан.*

## ПРОЩАЙ, РОДИМАЯ СТОРОНКА...

*Как это было! Как совпало  
Война, беда, мечта и юность!..*

*Д. Самойлов*



Летом 1947 года я собрал документы и выслал их вместе с заявлением в речное училище, в город Горький. Вскоре пришел вызов: надо было приехать в училище, имея заключение медкомиссии о здоровье.

Я узнал о постоянно действующей комиссии при военкомате и не мешкая отправился в село Мамыкино – так именовался наш райцентр. Автотранспорта в те годы не было и в помине, никто не имел об этом и представления. Сельские жители знали только один способ передвижения – пешком. Дорога была неблизкая, но вполне для меня привычная. Тогда я работал счетоводом в своем колхозе, и мне часто – не менее двух раз в месяц – приходилось по колхозным делам бывать в районных учреждениях. Отмахав привычные 30 километров, к полудню был уже в военкомате. Здесь мне выписали направление на комиссию, которая находилась при районной больнице. В ней малоллюдно – день уже на исходе, и я сходу попадаю к врачам. Довольно бойко прохожу глазного и невропатолога. А в следующем кабинете, уха-горла, чуть было не случился прокол. Докторша обнаружила в левом ухе и извлекла оттуда... засохшего таракана! Надо же так оконфузиться – пришел к врачу с такой тварью в ухе!

– Доктор, мне так неловко перед вами – хоть провались, – бормочу я. – И что же теперь? Неужели негоден?

– Понимаю ваш конфуз... Только не надо стыдиться врача: он всегда ваш союзник против недуга. И хорошо, что мы нашли это злосчастное насекомое.

И теперь с ушами все у вас в норме. И... – счастливого вам пути.

С трепетом в душе получаю заветную пометку «годен» и спешу в следующий – уже последний кабинет. Здесь меня осмотрели, прослушали, простукали терапевт и хирург – врачи – мужчины. Тот, что постарше, – хирург. Он же председатель комиссии. Он задал несколько вопросов общего характера:

– Тебе восемнадцать – где работаешь?

– В колхозе – счетоводом.

– Молодцом! Где родители?

– Отец погиб, живем с матерью.

– А сколько вас у матери?

– Четверо.

Были еще вопросы:

– Болел ли корью?

– Да.

– Малярией?

– Да, болел.

Потом сказали: «Все. Можешь одеваться. Позовем – жди».

Вышел в прихожую, оделся, сел. И тут через щелку неплотно прикрытой двери слышу негромкий разговор врачей:

– Итак, коллега – что вы скажете? – это голос старшего.

– Сердце и легкие в норме. Внешний анализ менее благоприятен: худоба тела заметно контрастирует с полнотой лица. И потому допускаю, что это отечность и наличие дистрофии, – заключает терапевт.

– Парень, понятно, худоват: вес его отстаёт от роста. Даже за дорогу в 30 километров он потерял не менее полутора кило. И потому – дистрофию исключаем! А что лицо полное – просто оно еще сохранило детскую округлость – вот и все! – решает старший.

– И что пишем? Здоров и годен? – это голос терапевта.

– Да! Именно так. Пусть едет в свое речное училище и там откармливается.

Через минуту слышу – зовут: «Входите».

Председатель встал из-за стола, подошел с бумагой ко мне:

– Вот тебе документ: здоров, годен. Держи... Поздравляю.

Он пожал мне руку: «Счастливого пути!». А потом спохватился и весело рассмеялся:

– Да, мы совсем забыли, что благословляем будущего капитана! И потому желаем счастливого плавания!

Подошел и терапевт – тоже подал руку:

– Поздравляю! Счастливого плавания.

Вернувшись домой, я рассказал обо всем своим домашним. Мать спросила:

– Когда ты должен явиться в училище?

– Через восемь дней – к 1 августа.

– К этому времени тебя надо покормить, чтобы о голодных отеках врачи не могли и подумать.

– Чем подкармливать-то?

– Зарежем теленка – ему уже три месяца, – решительно сказала мама.

Все были согласны. Даже семилетняя Нина – младшая сестренка – изрекла:

– Теленочка жалко, но Толю жальчее.

Так по семейному решению бедное животное

было принесено в жертву ради моего будущего. Спустя неделю, подкормленный свежей телятиной, я распрощался с теми, кого оставлял дома: мамой, бабушкой, сестренками Валею и Ниной, братом Генной – и, вскинув солдатский вещмешок, набитый ржаными булками, двинулся, как всегда, пешим порядком к ближайшей волжской пристани – Переволоки. Впереди – 70 километров – два дня пути. Думалось и вспоминалось в том попутном одиночестве только о прошлом...

За моей спиной уже восемнадцать лет жизни. Двенадцать из них – счастливые. Потому что в мирное время и, главное, – с отцом.

В автобиографии, сохранившейся в его бумагах, он писал: «Род занятий родителей – хлебопашество». По сельским меркам отец слыл грамотным: он кончил трехклассную дореволюционную школу, которая давала более основательные знания в счете и чистописании, чем начальная четырехклассная школа моего времени. Согласно семейным преданиям, именно по грамотности отцу суждено было стать первым председателем колхоза, созданного в начале 1931 года в нашей деревне Исенево (Татарстан, Октябрьский район.) Но в коллективном хлебопашестве Алексей Максимович не преуспел: в 1933 году он вышел из колхоза и подался, как тогда говорили, в отходничество. Мы переехали в лесхоз, где отец начал работать конторским служащим – сначала счетоводом, затем бухгалтером. Дом в деревне сдали внаем без всякой платы – с условием надзора и присмотра за всем дворовым хозяйством. Такие домовладельцы – «отходники» – были не в чести у сельсоветов, и вскоре от властей отец получил предупреждение: во избежание реквизиции дома властями – немедленно продать его. Запомнилось мне это потому, что родители вели разговор о цене дома – 1000 рублей. На них отец мог в то время купить велосипед, который стоил 700 рублей. Дом продали, но «самокат» так и не купили – видимо, деньги ушли на расходы более насущные. Помню, было это в 1936 году, мне было 7 лет.

По мере своего взросления я все больше привязывался к отцу. Он увлекался рыбалкой, и летом мы не мыслили ни единого дня без вечернего уженья. В 1941 г. я окончил четвертый класс, и 29 мая мне вручили похвальную грамоту. Это единственный документ, который тогда, в 1941 г., держал в своих руках папа и который мне удалось с тех пор сохранить...

Папе была суждена короткая жизнь: в декабре 1941 года в тридцатитрехлетнем возрасте он погиб под Москвой. Горечь и тоска по погибшему отцу вошли в мое мальчишеское сознание в те далекие годы и остались во мне навсегда.

С годами я только больше осознавал непостижимость этой утраты. Многие действия и поступки отца, которые я мог видеть, будучи рядом с ним, осмысливаются мной до сих пор. Только отец был единственным на нашем лесхозовском кордоне (поселке) подписчиком на книги серии «ЖЗЛ» и «Библиотеки журнала «Огонек» в течение четырех предвоенных лет, а затем – и на журнал «Литературная учеба». За два года до войны, в 1939 году, он поступил в заочную среднюю школу. Случай на кордоне тоже небывалый. Его духовные интересы, устремления запали в мое существо, стали

со временем достоянием моей души. Мое восприятие мира, отношение к прошлому, к истории и то, что во мне достойно внимания окружающих и вызывает какой-то интерес, – всем этим я обязан отцу – его до обидного короткой жизни, трагической судьбе и памяти. Мне очень понятны строки стихов Д. Самойлова:

Как это было! Как совпало –  
Война, беда, мечта и юность!  
И это все в меня запало  
И лишь потом во мне очнулось!

Исполняя последний наказ отца, мы – мама и четверо детей от двенадцати до двух лет – в августе 1941 года переехали в родную деревню, в дом бабушки по матери.

И потекли годы военного лихолетья. Их особенность заключалась в том, что личное подворье в деревне – дом, огород, домашний скот – обеспечивался только радением женщин и детей, их мускульной силой. На них легли все тягловые, по сути, лошадиные усилия. Дети и женщины тянули санки, тележки, – с дровами, сеном, – впрягались в плуги и пахали огороды. Все это – на пределе человеческих сил. И никуда от этого не деться, потому что поголовье колхозных лошадей постоянно убывало от худобы и неухоженности, от болезней, – всего того, что характерно для общественного конского поголовья. С начала войны постепенно беднел и скудел конский корм – овес совершенно исчез из конского рациона. Слабых животных одолевали и изводили неслыханные болезни: менингит, чесотка. Но самым главным бичом был, конечно, недокорм. Если осенью 1941 года на конном дворе еще было более полусотни лошадей, то к концу 1945 года в колхозе числилось 27 голов.

Так что на личные нужды колхозников лошадей не давали – хоть убейся. И это было нормой. Как и то, что работа в колхозе не оплачивалась ничем. Хлеб, возвращенный в колхозе, вывозился, сдавался государству. В колхозных амбарах оставался только семенной фонд – неприкосновенный.

Вся надежда и спасение колхозников составляла картошка со своего огорода – только она! В первую военную зиму мама меняла все довоенные костюмы, пальто, обувь отца, что-то из общих запасов и сумела печь хлеб в течение всей зимы. В следующем году хлеб в доме пекли только до половины зимы. А на третью зиму его не пекли совсем. Мне нечего было брать с собой в школу, чтобы там подкрепиться. Школа была в соседней деревне, в 4 км от нас. Дороги зимой туда не было, приходилось ходить на лыжах. Морозы, недоедание, угнетающая беспросветность – все это было мучительно, но страдала от этого и мама. Я видел это по утрам, когда она собирала меня в школу. Однажды она расплакалась: «Вижу, как тебе студено и голодно. И молока-то не нальешь – замерзнет. Что же делать?... Слушай, может, годик переждем со школой?» Так я перестал учиться.

К весне 1944 года наступили исключительно тяжелые времена – 1943 год был низкоурожайным годом. Из-за отсутствия хлеба запасы картошки тоже катастрофически иссякали. Голод толкал людей на потребление в пищу самых немыслимых растений.

По деревне пошел слух о съедобности сережек лесного орешника (лещины). В середине марта по весеннему насту мы тоже бросились в лес на сбор сережек. Мы с мамой тоже набрали этого добра, высушили, перемололи на ручной мельнице, а потом испекли, скрепив малой толикой муки, лепешки. Они были, против ожидания, черные и отвратительные. К тому же необыкновенно жесткие. Мама сказала: «Чего же ты ждешь: это ведь дерево, но не злак». Больше орешник не потребляли.

Добывали крахмал из картошки, не собранной в поле осенью и оставленной под снегом. В такой картофелине за зиму клетчатка сгнивает, а крахмал остается в оболочке. Эти мерзлые комочки собирали, как только с поля сойдет снег, очищали от оболочки, промывали и отстаивали оседающий на дно посуды крахмал. Лепешки из него, хоть и были сероватыми от земли, но все-таки казались более съедобными.

Умерли от голода наши близкие: брат моего дедушки Василий Петрович и моя тетя Евдокия Максимовна. Правда, про нее говорили, что она употребила пищу, приготовленную из зерна, перезимовавшего в колосках под снегом. Помню плакат, выпущенный позднее республиканским Наркомздравом, который разъяснял о болезни, вызываемой таким зерном, – септической ангине.

В деревне той весной, по моим сведениям, умерло девять взрослых человек, которых я хорошо знал. Помню, какая безысходность и отрешенность царил тогда в деревне.

Все было как-то приглушенным, беззвучным – не слышалось ни песен, ни громких разговоров, люди отвыкли смеяться. Всеми – взрослыми и детьми – овладели тоска, безучастность, апатия.

В мае два наших «красных» колхоза – «Красное знамя» и «Красная звезда» были буквально потрясены смертью своих председателей, правда, к тому времени бывших – они умерли на одной неделе. Мне приходилось знать их. В начале войны они председательствовали: Егоров – в «Знамени», Туганов – в «Звезде». В 1942 году они за какие-то упущения были сняты районными властями со своих постов (в этом случае снималась и бронь от призыва в армию) и отправлены по мобилизации на трудовой фронт, т.е. на завод или другое промышленное производство.

Через два года оба они по состоянию здоровья были комиссованы и вернулись домой. Одно из них, Туганова, я видел, когда он, возвращаясь домой, подошел к сельсовету и присел отдохнуть. В этом изможденном, худом старике не было ничего, что напоминало бы живого, бойкого и «ругливого» Туганова. Он был так немощен, что еле говорил.

Дома его никто не ждал – ни жена, ни дети – они голодали. Так жена и сказала: «Ты нам не нужен – кормить тебя нечем». Туганов и сам видел это. На другой день, оставшись дома один и, найдя ножовку, начал пилить ею горло. Сил довести задуманное до конца не хватило, и он, истекая кровью, медленно умирал. Об этом потом рассказывал председатель сельсовета Аркадий Андреевич Мозохин, которого вместе с фельдшером позвали к еще живому Туганову. На их руках он тихо и умер.

А второй председатель – Егоров в те же майские

дня, вернувшись домой к пустому очагу и больной жене на нетопленной печи, вскоре умер, ни разу не выйдя из дома. Почему же колхозники так страдали, умирали от голода, подобно блокадникам, хотя и не были в блокаде и жили вдали от военных действий?

Все очень просто: к ноябрю 1941 года страна перешла на карточную систему снабжения продуктами рабочих и служащих. И это сотворяется в государстве, о котором десятилетиями твердили – «страна рабочих и крестьян»! Колхозников от снабжения продуктами исключили! Главных радателей хлебной нивы исключили из системы, гарантировавшей людям хлебный паек – пусть даже самый малый – не такой чрезвычайный случай, как война.

«История Отечественной войны» одной строчкой, бесстрастно, отмечает этот позорный факт: «Население, связанное с сельским хозяйством, не принималось на государственное снабжение продуктами питания» (История Отечественной войны, т. 2, 1964 г., стр. 550). И все, больше никаких мотиваций.

Знаю это на своем опыте: отец ушел в армию из рядов служащих (заметьте – не колхозником). И это дало нам, как семье служащего, право: даже живя в колхозе, получать всю войну хлебный паек (муку). Каким бы он ни был малым (нам полагалось по категории иждивенческой), но он, несомненно, выручал нас, помогал сводить концы с концами. Право же, мы не могли не ощущать себя более везучими, чем семьи колхозников.

Такие факты обязательно откладываются в сознании не только отдельного человека. Они копятся в народной памяти. Потому и обезлюдели деревни, земля потеряла своих радателей – крестьян. В них большевики видели только кулаков...

И снова я в прошлом, в 1944 году. Как у Николая Рубцова:

*Память возвращается как птица,*

*В то гнездо, в котором родилась...*

Надо сказать, что почти все, кто отправился из нашей большой родни на фронт, к тому времени были уже убиты. Не уцелел никто: отец, его двоюродные братья Пироговы – Александр, Петр, Владимир, Василий, Егор, племянники – Николай и Василий; двоюродные братья (по бабушке) – Иван, Степан, Николай – Петровы.



А.А. Пирогов

Не вернулся никто – погибли все 11 человек, ушли и сгинули...

И каждый из них в самой разной мере запечатлелся в моей мальчишеской памяти. В деревне мы часто виделись, а потом я друг за другом их всех и проводил на фронт – в 1941, 1942, 1943 годах...

Летом 1944 года мне предложили работу – учетчиком-заправщиком тракторной бригады МТС (машинно-тракторной станции). Существовала в то время такая государственная организация, обслуживающая на договорных условиях колхозы. Я измерял и учитывал все сельскохозяйственные работы – пахоту, боронование, сев, затем комбайновую уборку хлебов и снова пахоту и сев озимых. Разумеется, вел также учет горюче-смазочных материалов.

С тех пор я навсегда запомнил, какие скудные и горькие урожаи зерновых были у нас в военные годы: рожь намолачивали

до 9 центнеров с гектара, пшеницу – до 6 центнеров с гектара. Зимой 1945 года председатель соседнего колхоза «Красная звезда» дядя Ефим Гурьянов, зная меня по работе в тракторной бригаде, предложил мне должность счетовода колхоза на очень выгодных для меня условиях: пуд муки (16 килограммов) в месяц и пол-литра молока – каждый день – на обед. Я согласился без всяких колебаний. Мама тоже ликовала: мы можем тратить полкило в день, пусть на всех и пусть ржаной, но муки, а не лебеды! Это было нашим спасением!

Крестьянское хозяйство военных лет – это чаще всего двор с погнившей соломенной кровлей, старые постройки, убогость, запустение. Дворы стали ветшать, приходило в упадок с началом коллективизации, когда крестьяне лишились не только своего надела в поле, но с их дворов свели на общий колхозный двор лошадей, первейших, неоценимых помощников человека на земле! Надо ли говорить, что конь был в услужении человека еще до изобретения колеса!

С началом войны, с поголовным призывом мужчин в армию, в деревне остались в основном вдовы с малыми детьми. Во многих домах и с дровами еле-еле перебивались, доживая порой до последнего полена.

Через дом от нас жила с четырьмя детьми пожилая вдова – тетя Маруся Семенова. В семье был только один мужчина – Ваня, мальчик старше меня